

* * *

Я бежал на огонь из последних сил
Просто так, чтоб к жизни поближе,
Как вдруг язвительно пробасил
Голос сердитый свыше:

«Не спеши туда, где солнце встаёт
Багряным зовущим заревом,
Оно ведь горячее, ещё обожжёт,
Весь провоняешь гарью!»

Я стоял не в силах ногою двинуть,
Горько думал, ну как же так,
Неужели мне можно просто остынуть,
Словно я отработанный шлак.

1962

* * *

Эта стена не занята.
И не заняты мы.
Эта стена, словно часть и память
Белой большой зимы.

Сторонятся её афиши.
Ей неведом оконный плен.
Эта стена грустней и тише
Всех придорожных стен.

Ей незнакомы приказы строгие,
Крик объявлений вздорных.
Эта стена далеко от дороги
Прячется на задворках.

Светел и чист в тумане
Смутный просвет стены.
Эта стена не занята,
И не заняты мы.

1963

за воротами.
Поворот —
и по улице
медленным маршем.

Вот бы влиться...
Дойти,
 копать.

Над воротами есть окно.
Мне оттуда рукою машут:
— Ты не стой — это всё не наши.
Наши в поле, копают давно.

Встал напротив.
Покой в ногах.
Сам ни в поле, ни у ворот.
Мне разглядывать помогал
чёрный пёс —
атаман воров.

Вместе с ним воровали тёс,
вместе строили конуру,
вместе были —
отдельно спрос:
поделили нас на миру.

Безлопатные
ковыряли пальцами.
Кто с ногтями,
кто — без.
Те, с лопатами,
яму вырыли, лопаты спрятали —
у них не «собес».

А мне в глаза
любимый странный блеск.
Вширь —
от ресниц до ледяных границ
и дальше.

А горсти разбились душами
отдельно. И кто-то по двое.

Свои отбивая знаки
на пыльных панелях улиц,
скребётся дневная накипь,
скребут башмаки грязнули.

И каждый, себя отметив,
в лице и окне знакомом,
пристанет к обжитой клетке,
назвав её ласково домом.

май 1966

* * *

Раскованность воды
в зеленоватой ряби.
Глаза налиты завистью
к воде,
к спокойствию лесов седых...

Там,
увязая в хляби,
принять просил
и получил отказ
шумливых сил.

Но не в последний раз,
между деревьями протискивая тело,
пытаюсь
сжиться с вольностью
и полностью
увидеть всё,
чего не смело
воображение вчера...

Хозяева
хранят свои дела
под непрозрачностью зелёного ковра,
питая жизнь
иными образами.

июль 1966

* * *

Я помню голос, его стихи
о поле, о лесах, о важности своей.

Был голос белым,
не словно снег,
но как экран,
готовый отразить любой пришедший свет.

Всем должно слушать.
Сидели,
Руки по карманам рассовав.
Никто не вторил
даже про себя.

Готовили невзрачные слова,
а в глубине
нечисто шевелилась радость,
за то, что вновь
нетронутой осталась
власть,
которой домогались все.

ноябрь 1966

СТАРУХИ

...безгрешно распахнув колени
На фоне храмов и домов,

И сквозь бесхитростный покров
Бугры —
 мозоли от молений...

Навек простуженная речь
Согласна с едкими чертами.
Вы их, наверно, не читали
В необходимости беречь
Свои глаза
 от слишком мелких букв.

Я примеряю их судьбу,
Я знаю своей размер.
У них размера нет.

И неподвижность их теней
Моей подвижности сильней.

июль 1967

★ ★ ★

Безликие мгновения распада.
Безвременье.
Потух.
Враз схлынуло
засилье жалостных потуг
и лоб просох.
Безверие.
Руками потными
ощупываешь круг
вскользь.
Изнутри
зудящий лепет,
оброк словесности:
«Инерция — коммерция»,
Савелий верен...
...труха — ха-ха — суха...

Причин и следствий нет.
Одно «теперь»
в бесплатной точке.
И выдох не спеша:
«Не лезьте, слезьте...»
Бывает так,
безумно кружишься
вокруг себя,
безжалостно, бездумно...
Стоп! — тошнота.
Глаза закрыть.
Крен — носом к полу.
«...инерция — коммерция...» —
Не то! Не так!
Вернее, всё равно!
Не этак иль не так.
Всё равноправно,
дымно.
И лишь поверх —
сверкает в напряжённых пальцах
(и выдох не спеша —
«не лезьте, слезьте...»)
— лезвие.

осень 1967

★ ★ ★

Стихи — разве плач?
Под Новый год,
за столом людей,
когда вода зацвела
в угоду оседлым.
Когда под огнём свечей
привычно,
выстрел за выстрелом,
сохнет ель,
исполнив приказ и образ
вечный, но чей?

Стихи — разве суд?
Без прав, с высоты окна,
в надежде,
что приговор по городу разнесут
заседатели —
завсегда и смут.

Стихи — разве дом,
искомый,
лежащий у ног
в обществе милых лиц?
Дом, где мёртвых спасали,
потому что живых
не могли.

Стихи — разве грех
родителей? —
пешек в Его игре.

осень 1967

★ ★ ★

Нет, не пора
крепить слова любовью
и строить карточный квартал,
где короли —
ступени лестниц,
а дамы — двери.

Труд лестный
отвергаю с болью.

Я знаю,
не пора,
мне не поверят.

1967

* * *

За ратью рать —
парад
истерзанных былин
на светлый час,
на смутный час.

Резная
томная свеча.
Салонный дух,
народный нюх,
бульвары, избы —
сызмальства болеем.

А под Москвой кричит петух
и снег лежит,
скрипуч и нелюдим.

1968

* * *

Узда на душе слабее.
На вечер
 намордник снят.
И сердце
 шалеет,
поверив исходу дня.

Зов прошлого, как свирели.
Взгляд коварен и чист.
Так было,
когда горели
 поленья
в любимой печи.

Не жаль.

Но какой-то
битый
бродил по свету с сумой.

А потом
за свои обиды,
шутя, расплатился
мною.

январь 1971

* * *

*Все мы смешные актёры
В театре Господа Бога.
Николай Гумилёв*

Ах, вы актёры?!
Что ж? — добро!
Но я на сцену не согласен.
Не ряженных
Мне мир подвластен.
Не в грим макается перо.

Мне платная уныла честь.
Не Гамлетом
брожу по залам
И что на свете счастье есть,
Увы, не пьеса мне сказала.

Но ведом
Трепет лицедейства,
Его чарующий акцент,
Когда звучит аплодисмент
В миг
Неподдельного
Злодейства.

10 февраля 1971

возвращается краденый,
переливчатый миг.

И свита с ним —
толпа вопросов,
коленопреклоненные они:
где жил,
кого и как любил,
засеяно ли просо
и сколько лет не умирают пни.

«Пора, мой друг, пора» —
не в дальнюю обитель.
На улице моей
затеяна игра,
и я кричу,
я сам, как детвора:
«Пора, не пора,
я иду со двора.
Гори, гори ясно,
чтобы не погасло».

Опасная игра
неуловимых правил,
невидимых границ,
непрощенных послов.

Погиб Меркуцио —
печальный острослов.
Не жаль его —
закон для всех суров.

22 февраля 1972